ционизме, пресмыкательстве перед властью и попытках обосновать идеологию тоталитарного режима, а другие сочувственно живописуют мучительную трудность честного философствования в коррумпированном обществе под железной пятой тоталитарной власти (См.: *Rist J.U.* Seneca and Stoic Orthodoxy // ANRW, II, 36, p. 1993–2012). Верно ли это, судить читателю. Однако, несомненно,что это – не единственная проблема, позволяющая нам рассматривать Сенеку как современника. В его диалогах подняты и другие вопросы, может быть, менее злободневные, но более глубокие и не менее насущные как для него, так и для нас.

* * *

Перевод с латинского выполнен по изданию: *Seneca.* Moral essays in three vol. Loeb Classical Library, 1970.

Луций Анней Сенека

О СКОРОТЕЧНОСТИ ЖИЗНИ

К Паулину

Большинство смертных жалуется, Паулин[1], на коварство природы: дескать, рождаемся мы так ненадолго и отведенное нам время пролетает так скоро, что, за исключением разве что немногих, мы уходим из жизни, еще не успев к ней как следует подготовиться. Об этом всеобщем, как принято считать, бедствии вопит не только невежественная толпа; не только чернь, но и многие славные мужи не сдержали горестных жалоб перед лицом такой напасти. Вот величайший из врачевателей восклицает: "Жизнь коротка, искусство длинно"[2]. Вот Аристотель предъявляет природе претензию, мало приличествующую мудрецу: "Иным животным она по милости своей настолько удлинила век, что они переживают по пять, а то и по десять поколений; а человеку, рожденному для великих дел, положила конец куда скорейший"[3].

Нет, не мало времени мы имеем, а много теряем. Жизнь дана нам достаточно долгая, и ее с избытком хватит на свершение величайших дел, если распределить[4] ее с умом. Но если она не направляется доброю целью, если наша расточительность и небрежность позволяют ей утекать у нас меж пальцев, то когда пробьет наш последний час, мы с удивлением обнаруживаем, что жизнь, течения которой мы не заметили, истекла.

Именно так: мы не получили короткую жизнь, а сделали ее короткой. Мы не обделены ею, а бессовестно ее проматываем. Как

богатое царское достояние, перейдя в руки дурного хозяина, в мгновение ока разлетается по ветру, а имущество, пусть и скромное, переданное доброму хранителю, умножается, так и время нашей жизни удлиняется для того, кто умно им распорядится.

Что мы жалуемся на природу вещей? Она к нам благосклонна, и жизнь длинна, если знаешь, на что ее употребить. Но чем мы заняты? Один погряз в ненасытной алчности, другой – в суете бесконечных трудов и бесплодной деятельности; один насасывается, как губка, вином, другой дремлет в беспробудной лени; одного терзает вечно зависимое от чужих мнений тщеславие, другого страсть к торговле гонит очертя голову по всем морям и землям за наживой; иных снедает воинственный пыл: они ни на миг не перестают думать об опасностях, где-то кому-то угрожающих, и тревожиться за собственную безопасность; есть люди, полные беззаветной преданности начальству и отдающие себя в добровольное рабство; многих захватила зависть к чужому богатству, многих – попечение о собственном; большинство же людей не преследует определенной цели, их бросает из стороны в сторону зыбкое, непостоянное, самому себе опротивевшее легкомыслие; они устремляются то к одному, то к другому, а некоторых и вовсе ничто не привлекает, они ни в чем не видят путеводной цели, и рок настигает их в расслаблении сонной зевоты. Вот уж поистине прав величайший из поэтов, чье изречение мы могли бы принять как оракул: "Ничтожно мала та часть жизни, в которую мы живем"[5]. Ибо все прочее не жизнь а времяпрепровождение.

Со всех сторон обступили и теснят людей пороки, не позволяя выпрямиться, не давая поднять глаза и увидеть истину, уволакивая вниз, на дно и там накрепко привязывая к страстям. Человек не в силах освободиться и прийти в себя[6]. Даже если случится вдруг в жизни покойная передышка, в человеке не прекращается волнение, как в море после бури еще долго несутся волны, и никогда он не знает отдыха от своих страстей.

Думаешь, я говорю об общепризнанных неудачниках? Взгляни на других, чье счастье всем кружит головы: они же задыхаются под тяжестью того, что зовут благами. Сколь многих гнетет богатство! Сколько крови портит многим красноречие и ежедневная обязанность блистать умом! А сколькие теряют здоровье в нескончаемых наслаждениях! Скольким не дает перевести дух неиссякающий поток клиентов! Да перебери ты, наконец, всех их, снизу доверху: этот ищет адвоката, этот бежит ходатайствовать, тот обвиняется, тот защищает, тот судит – никому нет дела до себя, каждый поглощен другим. Спроси о тех, чьи имена у всех на устах: чем таким они примечательны? А вот чем: один – попечитель одних, другой – других, только о себе самом никто не печется.

Иные возмущаются, жалуются, что вот, мол, высокопоставленные лица презирают нас, не находят, видите ли, времени нас принять, когда мы желаем их видеть: чистейшее безумие! Да как смеешь ты сетовать на высокомерие другого, если сам для себя никогда не находишь

времени? Он-то тебя, какой ты ни есть, все-таки заметит иногда, хоть и с досадой на лице; он тебя все-таки выслушает и домой к себе пустит; ты же сам себя никогда не заметишь, никогда не выслушаешь. А значит и нечего тебе роптать на кого-то, будто тебе отказали в твоем праве на внимание; ты говоришь, что хотел побыть с другим, но ведь ты сам с собой ни минуты побыть не в силах.

Всякий светлый разум, всякая голова, хоть раз в жизни озаренная мыслью, не устанет удивляться этому странному помрачению умов человеческих. В самом деле, никто из нас не позволит вторгаться в свои владения и, возникни хоть маленький спор о границах, возьмется за камни и оружие; а в жизнь свою мы позволяем другим вмешиваться беспрепятственно, более того, сами приглашаем будущих хозяев и распорядителей нашей жизни. Нет человека, желающего разделить с другими деньги, но скольким раздает каждый свою жизнь! Мы бдительны, охраняя отцовское наследство, но как дойдет до траты времени – сверх меры расточительны, а ведь это то единственное, в чем скупость достойна уважения.

Хочется остановить в толпе какого-нибудь старика и спросить: "Достиг ты, видно, последнего доступного человеку возраста – лет тебе, верно, сто, а то и больше; попробуй-ка припомнить свою жизнь и произвести подсчет. Прикинь, сколько отнял из этого времени кредитор, сколько подружка, сколько патрон, сколько клиент; сколько ушло на ссоры с женой, на наказание слуг, на беготню по делам; добавь сюда болезни, в которых сам повинен, добавь просто так без пользы проведенное время, и ты увидишь, что тебе сейчас гораздо больше лет, чем ты действительно прожил. Вспомни, когда ты исполнял свои собственные решения; посчитай дни, прошедшие так, как ты наметил; вспомни дни, когда ты располагал собой, когда твое лицо хранило свое естественное выражение, когда в душе не было тревоги; прикинь, сколько настоящего дела успел ты сделать за столь долгий век, и увидишь, что большую часть твоей жизни расхитили по кускам чужие люди, а ты и не понимал, что теряешь. Вспомни, сколько отняли у тебя пустые огорчения, глупые радости, алчные стремления, лживолюбезная болтовня и как ничтожно мало осталось тебе твоего, – подсчитай, и ты поймешь, что в свои сто лет умираешь безвременно".

В чем же дело? – А в том, что вы живете, как вечные победители, забыв о своей бренности, не отмечая, сколько вашего времени уже истекло; вы бросаетесь им направо и налево, словно его у вас неисчерпаемый запас, а ведь, может быть, тот самый день, который вы так щедро дарите какому-нибудь человеку или делу, – последний. Вы боитесь всего на свете, как смертные, и всего на свете жаждете, как бессмертные.

Прислушайся, и едва ли не от каждого ты услышишь такие слова: "В пятьдесят лет уйду на покой, с шестидесяти освобожусь от всех вообще обязанностей". – А кто, интересно, тебе поручился, что ты до этих лет доживешь? Кто повелит событиям идти именно так, как ты предполагаешь? И к тому же, как тебе не стыдно уделить для себя

самого лишь жалкие остатки собственных лет, оставить для доброй и разумной жизни лишь то время, которое уже ни на что другое не годится? Не поздно ли начинать жить тогда, когда пора кончать? Что за глупое забвение собственной смертности – отложить здравое размышление до пятидесяти или шестидесяти лет и собираться начать жизнь с того возраста, до которого мало кто доживает!

Присмотрись: люди, вознесенные на вершины власти и могущества, невольно вздыхают порой о желанном досуге и восхваляют его так, что можно подумать, они предпочли бы его всему, что имеют. Нередко они мечтают опуститься с этих своих высот – если бы только они могли быть уверены, что уцелеют при этом; ибо чрезмерное счастье обрушивается под собственной тяжестью, даже без внешнего потрясения или нападения со стороны.

Божественный Август, получивший от богов больше, чем кто-либо, не переставал молиться о ниспослании ему покоя и отдыха от государственных забот. Всякую беседу он обыкновенно сводил к тому, как хорошо было бы освободиться наконец от дел. Среди своих трудов он утешался ложной, но сладостной мыслью, как в один прекрасный день отвоюет себя для себя самого. В одном письме[7], посланном сенату, он обещает, что дни его будущего отдыха будут не вовсе лишены достоинства и, может быть, принесут ему славу ненамного меньше прежней; там я прочел такие слова: "Конечно, о таких вещах не следовало бы говорить заранее: чтобы произвести должное впечатление, нужно показывать уже сделанное. Однако я так желаю поскорее достичь этой желанной поры, лучшего времени моей жизни, что раз уж эта радость не торопится ко мне в действительности, я забегаю вперед и вкушаю часть будущего удовольствия в сладостных разговорах о ней". Вот так: досуг представляется ему вещью столь чудесной, что, не имея возможности насладиться им на деле, он находил удовольствие уже в одной мысли о нем. Человек, видевший, что все в мире зависит от него одного, решавший судьбу людей и народов, считал, что счастливейшим днем его жизни будет тот, когда он сбросит облекающую его власть.

Он-то знал, сколько пота выжало из него это счастье, блещущее на весь мир, сколько тайных тревог скрыто за его лучами. Сначала с согражданами[8], потом с коллегами по должности[9], наконец с родственниками[10] он должен был оружием решать вопрос: "Кто кого?", заливая моря и земли римской кровью. Пройдя войной Македонию, Сицилию, Египет, Сирию, Азию, обойдя кругом все почти Средиземное море, он повернул, наконец, уставшие от междоусобной резни войска против внешних врагов. И пока он усмирял Альпы и укрощал неприятеля, вторгшегося посреди перемирия в сердце империи; пока отодвигал границы за Рейн, Евфрат и Дунай, в самом городе на него точились кинжалы Мурены, Цепиона, Лепида, Эгнация и прочих[11]. Не успел он избежать этой напасти, как новая повергает его, уже надломленного годами, в содрогание: на сей раз его собственная дочь и целый рой благородных юношей, которых прелюбодеяние связало крепче любой

клятвы; а тут новый страх, повторяющий тот, который уже был однажды: опять женщина в союзе с Антонием[12]. Эти гнойники[13] он отсек вместе с членами; но тут же вспухли новые. Словно в слишком полнокровном теле, где-то постоянно прорывалось кровотечение. И вот он мечтал об отдыхе и досуге; мысли о нем заставляли отступить заботы и горести – это было главное желание человека, имевшего власть исполнять желания.

Марк Цицерон, которому пришлось разрываться между Катилинами и Клодиями, с одной стороны, Помпеями и Крассами, – с другой, между откровенными врагами и сомнительными друзьями; которого швыряло и било в волнах водоворота вместе с идущим ко дну государством, а он все пытался спасти его и в конце концов потонул с ним вместе; которому не довелось ни узнать покоя в счастье, ни терпеливо переждать несчастье, – сколько же раз он проклинал свой ненавистный консулат, хотя сам же и восхвалял его – если и не без причины, то во всяком случае без меры. В одном письме к Аттику, отправленном, когда Помпей-отец уже был разбит, но сын вновь собирал в Испании рассеянную армию, он просто рыдает: "Ты справшиваешь, чем я занят? Торчу в своем Тускулане, полусвободный, полураб". И затем принимается оплакивать всю свою прошедшую жизнь, жаловаться на настоящую, с отчаянием глядя в безнадежное будущее.

Цицерон назвал себя "полусвободным" Но, клянусь Геркулесом, мудрец никогда не унизится до того, чтобы его можно было назвать подобным именем! Мудрец никогда не может стать полусвободным: его свобода тверда и всегда остается незыблема; он ничем не связан, сам себе хозяин и не подчиняется никому. Ибо кто может встать над тем, кто возвысился над самой судьбой?

Ливий Друз, муж весьма решительный, крутого и горячего нрава, вздумал внести новые, неслыханные прежде законы, чем навлек на страну большую беду в лице двух Гракхов[14]. Окруженный толпами приверженцев со всей Италии, он не предвидел исхода своего дела, пока не очутился в таком положении, когда и продолжать его было нельзя, и бросить однажды начатое уже не в его власти; тут-то он, говорят, проклял свою жизнь, с малолетства не знавшую ни минуты покоя, и высказался в таком роде: дескать, один он среди римлян даже маленьким мальчиком не знал ни выходных, ни праздников. Еще совсем крошкой, одетый в претексту[15], он решался выступать перед судом в защиту обвиняемых и испытывал силу своего влияния на форуме, причем, говорят, настолько действенно, что некоторые приговоры определялись его речами. Да вот что же еще могло вылиться такое не по возрасту раннее честолюбие? Уже тогда можно было сказать с уверенностью, что недетская наглость и самоуверенность этого ребенка приведет к великим бедам и частным, и общественным. Так что он поздно начал жаловаться, что в детстве не знал ни отдыха, ни развлечений, озабоченный лишь серьезными делами форума. Некоторые предполагают, что он сам наложил на себя руки, ибо скончался он внезапно от одной-единственной раны,

нанесенной в низ живота; не все соглашаются признать его смерть добровольной, но никто не отказывается признать ее своевременной.

К чему умножать примеры людей, казавшихся всем баловнями счастья, чьи слова правдиво свидетельствуют об их собственном отвращении ко всему, что они сделали за свою жизнь. Их жалобы не изменили ни тех, кто их слышал, ни тех, кто произносил; не успели отзвучать невольно вырвавшиеся признания, как страсти вновь заняли привычное место.

Будь ваша жизнь длиной хоть в тысячу лет, все равно она окажется ничтожно мала, клянусь Геркулесом: подобные пороки способны пожрать без остатка сколько угодно столетий. Отведенный нам срок природа сделала скоротечным, но разум его удлиняет; у вас же он просто не может не пролететь мгновенно: вы не стараетесь сохранить его, удержать, замедлить стремительный бег времени – вы позволяете ему проходить, словно у вас его в избытке и вам нетрудно восстановить утраченное.

Тут на первое место я поставлю, пожалуй, тех, у кого нет времени ни на что, кроме вина и сладострастия; ибо нет занятий более постыдных. Заблуждения прочих людей, даже тех, кто всю жизнь гоняется за призраком славы, все-таки менее неприглядны. Ты можешь указать мне на корыстолюбцев, на склочников, на тех, кто живет беспричинной ненавистью или несправедливыми войнами, – по-моему, эти пороки как-то более мужественны. Но целиком отдаться чревоугодию и похоти – срам и разложение.Посмотри, на что уходит их жизнь, прикинь, сколько времени они тратят на низкие расчеты, сколько на интриги, сколько отнимает у них страх, сколько угождение тем, кто им нужен, и сколько – угожденье тех, кому они нужны, сколько времени уходит на хождение в суд по своим или чужим делам, сколько на пиршества, которые для них, впрочем, и есть собственно обязанности. Ты увидишь, что весь этот кошмар – или счастье, с какой стороны взглянуть,– не дает им перевести духа.

Ну и наконец, всем известно, что занятый человек ничему не может выучиться как следует: ни красноречию, ни свободным наукам, поскольку рассеянный дух ничего не усваивает глубоко, как бы выплевывая все, что пытаются насильно впихнуть в него. Самое недоступное для занятого человека – жить, ибо нет науки труднее. Преподавателей всех прочих наук сколько угодно; в некоторых, случается, даже маленькие мальчики настолько преуспевают, что сами могут преподавать. Жить же нужно учиться всю жизнь, и, что покажется тебе, наверное, вовсе странным, всю жизнь нужно учиться умирать. Сколько великий мужей, оставив все, что им мешало, отказавшись от богатства, от обязанностей, от удовольствий, отдавались вплоть до глубокой старости одному занятию – научиться жить: однако большинство из них ушли из жизни, признавая, что так и не научились. Что уж говорить о прочих?

Поверь мне, подлинно великий муж, поднявшийся выше человеческих заблуждений, не позволит отнять ни минуты своего времени.

Его жизнь – самая долгая, потому что все отпущенное время он был свободен для самого себя. Как самый бережливый хозяин он не бросил ни кусочка времени валяться праздным и невозделанным; ни малейшей доли не отдал в чужое распоряжение и не нашел вещи столь замечательной, чтобы ее стоило добывать в обмен на собственное время. Поэтому ему его времени хватило. Но его никак не может хватить тем, чью жизнь по кускам растаскивают посторонние люди.

Не думай, однако, что сами они не начинают рано или поздно понимать, что потеряли. Прислушайся к счастливцам, отягощенным успехом, и ты услышишь, как часто, окруженные толпами клиентов, посреди судебных разбирательств или какой-нибедь другой почетно-утомительной суеты они восклицают: "Мне не дают жить!" Конечно, не дают. Все, кто зовет тебя в адвокаты, отнимают у тебя жизнь. Сколько дней украл у тебя обвиняемый? Сколько тот кандидат на выборную должность? Сколько та старуха, уставшая хоронить своих наследников? Сколько тот мнимый больной, желавший подразнить алчность всех, кто зарился на его деньги? Сколько отнял твой чересчур высокопоставленный друг, который вас считает не столько друзьями, сколько предметами своего обихода? Проверь свои расходы, говорю я тебе, и подведи итог дням своей жизни: ты увидишь, что у тебя осталось всего несколько – и то лишь те, которые не пригодились другим.

Тот, кто страстно желал получить фаски[16] и наконец-то добился должности, мечтает теперь сложить ее и без конца повторяет: "Когда же кончится этот год?" Другой мечтал устроить игры и долго ждал, когда ему выпадет счастливый жребий, а теперь вздыхает: "Когда же, наконец, я от них отделаюсь?" Третий – знаменитый адвокат, всегда нарасхват на форуме; при огромном стечении народа, так что задние не могут даже его слышать, он выигрывает любое дело, за какое берется, и думает: "Когда же, наконец, судебные каникулы?" Каждый несется по жизни сломя голову, снедаемый тоской по будущему, томимый отвращением к настоящему.

Напротив, тот, кто каждый миг своего времени употребляет себе на пользу, кто распорядок каждого дня устраивает так, будто это – вся его жизнь, тот без надежды и без страха ожидает завтрашнего дня. В самом деле, какие неизведанные удовольствия может принести ему наступающий час? Все известно, всего он вкусил и теперь сыт. Прочим пусть распорядятся, если угодно, случай и фортуна: жизнь его уже вне опасности. К ней можно еще что-то прибавить, но ничего нельзя отнять: так сытому человеку можно предложить еще кусочек, и он возьмет его, но без жадности.

Итак, пусть седина и морщины не заставляют тебя думать, что человек прожил долго: скорее, он не долго прожил, а долго пробыл на земле. Ведь встретив человека, которого буря настигла при отплытии из гавани и разбушевавшиеся ветры долго гоняли по кругу, не вынося из родного залива, ты не станешь считать его бывалым мореходом? Верно, он долго пробыл в море, но не совершая плавание, а болтаясь в волнах игрушкой ветров.

Я не перестаю удивляться, видя как люди просят уделить им время, а другие без малейшего затруднения соглашаются это сделать. При этом те и другие обращают внимание лишь на предмет, ради которого просят о времени, и ни один не замечает самого времени: как будто один ничего не просил, а другой ничего не отдал. Драгоценнейшая вещь на свете не принимается всерьез: их обманывает то, что она бестелесная. Ее нельзя ни увидеть, ни потрогать, и оттого она ценится дешевле всего, вернее, никак не ценится.

Годовое или единовременное жалованье люди принимают весьма охотно, расплачиваясь за него своим трудом, старанием или усердием; время никто не оценивает, его используют так небрежно, будто получают даром. Но взгляни на тех же людей, когда они заболеют, когда над ними нависнет угроза смерти и они станут обнимать колени врачей; взгляни на приговоренных к казни: он готовы отдать все, что имеют, лишь бы жить! Что за непоследовательность в чувствах!

Если бы каждый из нас мог сосчитать оставшиеся у него впереди годы с той же точностью, с какой считают прожитые, то с какой трепетной бережливостью стали бы относиться к времени те из нас, кому его осталось мало! А ведь на самом деле даже малым остатком, если он точно известен, распорядиться легко; особой бережливости требует то, что может кончиться в любую минуту.

Не надо, впрочем, думать,будто людям никогда не приходит в голову, что время – вещь дорогая. Тому, кого любят особенно сильно, обычно говорят, что готовы отдать ради него сколько-то лет своей жизни. И действительно отдают, но сами не понимают этого. Отдают так, что те, ради кого это делается, ничего не получают; отдают, так и не удосужившись выяснить, что это такое и чего они себя лишают. Они разбрасывают свое время на что попало спокойно и без сожалений, ибо не видят своих убытков.

Никто не возместит тебе потерянные годы, никто не вернет тебе тебя. Время твоей жизни, однажды начав свой бег, пойдет вперед, не останавливаясь и не возвращаясь вспять. Оно движется беззвучно, ничем не выдавая быстроты своего бега: молча скользит мимо. Его не задержит ни царский указ, ни народное постановление: как оно пустилось в путь с первого мига твоей жизни, так и будет бежать вперед без остановки. Что же получается? Ты занят своими делами, а жизнь убегает; вот-вот явится смерть, и для нее-то уж тебе придется найти свободное время, хочешь ты того или нет.

Есть ли на свете кто-нибудь глупее людей, которые хвастаются своей мудрой предусмотрительностью? Они вечно заняты и озабочены сверх меры: как же, за счет своей жизни они устраивают свою жизнь, чтобы она стала лучше. Они строят далеко идущие планы, а ведь откладывать что-то на будущее – худший способ проматывать жизнь: всякий наступающий день отнимается у вас, вы отдаете настоящее в обмен на обещание будущего. Ожидание – главная помеха жизни; оно вечно зависит от завтрашнего дня и губит сегодняшний. Ты пытаешься распоряжаться тем, что еще в руках у фортуны, выпуская то, что было

в твоих собственных. Куда ты смотришь? Куда тянешь руки? Грядущее неведомо; живи сейчас!

Вот какое спасительное пророчество изрекает величайший из поэтов, словно по внушению божественных уст:

> В жизни несчастливых смертных быстрее всего пролетает
> Лучший день[17].

"Что ты стоишь? – говорит он тебе. – Что медлишь? Хватай их, не то убегут". Впрочем, они убегут, даже если ты их схватишь; вот почему со скоротечностью времени нужно бороться быстротой его использования, торопясь почерпнуть из него как можно больше, словно из весеннего потока, стремительно несущегося и так же стремительно иссякающего. А что за великолепное выражение: порицая нашу вечную медлительность, он говорит не о лучшей поре жизни, а о лучшем дне ее. А ты, не обращая внимания на необратимый бег времени, беззаботно и неспешно выстраиваешь перед собой длинную череду месяцев и лет, как будто их число зависит лишь от твоей жадности. Послушай, тебе говорят, что дня – и того не удержать.

Ну разве можно усомниться в том, что "первый же лучший их день бежит от несчастливых", то есть вечно занятых, "смертных"? Старость вдруг наваливается всей тяжестью на их еще ребяческие души, а они к ней не подготовлены, они беспомощны и безоружны. Они ничего не предусмотрели заранее и с удивлением обнаруживают, что внезапно состарились: ведь они не замечали ежедневного приближения к концу. Так беседа, чтение или напряженное размышление обманывают путешественника, и он оказывается на месте, не заметив, как приехал. То же самое случается и в нашем постоянном и стремительном путешествии по жизни, которое мы совершаем наяву и во сне с одинаковой скоростью: занятые люди замечают его, лишь когда остановятся у цели.

Я мог бы, если бы захотел, обосновать свое положение по всем правилам, разделив его на части и доказав каждую: мне приходит в голову множество доводов, подтверждающих, что самая короткая жизнь – у занятых людей. Однако, как говаривал Фабиан[18], для борьбы со страстями нужно напрягать силы, а не подыскивать тонкие аргументы, а он был из настоящих философов, старого закала, не из нынешних говорунов с кафедры. Он говорил,что строй наших страстей может сокрушить только лобовая атака, а не легкие ранения от пущенных издалека словесных стрел. Он не одобряет хитросплетения словес: страсти нужно истреблять, а не щекотать. Но для того чтобы люди увидели и осудили собственные заблуждения, их все-таки нужно учить, а не только оплакивать.

Жизнь делится на три времени: прошедшее, настоящее и будущее. Из них время, в которое мы живем, кратко; которое должны будем прожить – неопределенно; прожитое – верно и надежно. Ибо фортуна уже утратила свои права на него и ничей произвол не может его изменить. Этого времени лишены занятые люди: им некогда оглядываться на прошлое, а если бы и было когда, они не стали бы этого делать; неприятно вспоминать о том, в чем приходится раскаиваться.

Итак, им не хочется мысленно возвращаться в дурно прожитые годы; они не решаются взглянуть на свои прежние пороки – ведь в свое время их скрашивала, подобно хитрому своднику, и как бы оправдывала близость желанного наслаждения, а на расстоянии они видятся как есть, без прикрас. Ни один человек не обречет себя добровольно на мучения воспоминаний, за исключением того, кто все свои поступки подвергал собственной цензуре, которая никогда не ошибается. Кто действовал, руководствуясь честолюбивыми устремлениями, высокомерным презрением, необузданной жаждой власти, коварством и обманом, алчным стяжательством или страстью к расточительству, тот не может не бояться собственной памяти. А ведь прошлое – это святая и неприкосновенная часть нашей жизни, неподвластная превратностям человеческого существования, отвоеванная у царства фортуны; его не потревожат больше ни нужда, ни страх, ни внезапные приступы болезни; его нельзя ни нарушить, ни отнять; это наше единственное пожизненное достояние, за которое нужно опасаться. В настоящем у нас всегда лишь один день, и даже не день, а отдельные его моменты; но прошедшие дни – все твои: они явятся по первому приказанию и будут терпеливо стоять на месте, длясь столько времени, сколько тебе будет угодно их рассматривать. Впрочем, занятым людям делать это некогда.

Спокойная и беззаботная душа вольна отправиться в любую пору своей жизни и гулять, где ей угодно; души занятых людей, словно волы, впряженные в ярмо, не могут ни повернуть, ни оглянуться. Вот почему жизнь их словно проваливается в пропасть: сколько ни наливай в бочку, если в ней нет дна, толку не будет – ничего в ней не останется; так и им – сколько ни дай времени, пользы не будет, ибо ему не за что зацепиться; сквозь их растрепанные, дырявые души оно проваливается, не удерживаясь.

Настоящее время – кратчайший миг, до того краткий, что некоторые вовсе не признают за ним существования. Оно всегда течет, движется вперед с головокружительной быстротой; проходит, не успев наступить, и так же не терпит остановки, как мир и его светила, не знающие покоя в своем круговращении и никогда не остающиеся на одном месте. Так вот, для занятых людей существует исключительно только настоящее время, краткое до неуловимости; однако даже и оно отнимается у них, вечно занятых множеством дел одновременно.

Как недолго они живут! Не веришь? Посмотри сам: как страстно все они жаждут жить долго! Дряхлые старики любой ценой пытаются вымолить себе еще хоть несколько лет и пускаются на всякие ухищрения, лишь бы выглядеть моложе; более того – им удается и себя обмануть, и они с таким упорством внушают сами себе приятную ложь, словно надеются провести заодно и смерть. А когда болезнь или слабость напомнит им наконец об их смертности, с каким страхом они умирают, словно не уходят из жизни, а кто-то силой вырывает их из нее. Они плачут, причитая, какими же, дескать, были глупцами, что не пожили раньше; клянутся, если только выкарабкаются из этой болез-

ни, посвятить остаток жизни досугу; и впервые тогда им приходит в голову мысль, что все их труды оказались тщетны, что за всю жизнь они лишь накопили ненужное добро, которым так и не успеют попользоваться.

Но у тех, чья жизнь протекает вдали от забот, она воистину длинна. Она не отдается в чужое распоряжение, не разбрасывается то на одно, то на другое, не достается фортуне, не пропадает по небрежности, не растранжиривается по неумеренной щедрости, не тратится впустую: вся она, если можно так выразиться, помещена туда, где принесет надежный доход. Поэтому, как бы ни оказалась она коротка, ее хватает вполне: вот отчего мудрец всегда без промедления пойдет навстречу смерти твердым шагом, когда бы ни пришел его последний час.

Ты, может быть, спросишь, кого я зову занятыми людьми? Не только тех, кого можно выгнать из Базилики[19], лишь натравив на них собак; не только тех, кого ты вечно видишь в давке – будь то на почетном месте в окружении собственной свиты или на менее почетном – среди чужого окружения; не только тех, кого обязанности выгоняют из собственного дома, заставляя стучаться у чужих дверей, или тех, кого преследует преторское копье[20] за бесчестную тайную наживу, ибо такого рода дела рано или поздно всегда выходят наружу, словно прорвавшийся гнойник.

Нет, бывают люди, остающиеся занятыми и на досуге: в полном уединении на своей вилле или на ложе, удалившись от людей и забот, они продолжают быть самим себе в тягость; их досуг правильнее назвать не беззаботной жизнью, а занятым бездельем. Разве можно назвать беззаботным того, кто без конца переставляет коринфские вазы[21], усилиями нескольких сумасшедших слывущие драгоценными, и содрогается от мысли, что может допустить малейшую ошибку в их расстановке? Разве это досуг – рыться целыми днями в кучах позеленевших медных горшков? Или торчать возле ринга (in ceromate) болельщиком, не спуская глаз с борющихся мальчиков (вот уж воистину позор на наши головы! У нас и пороки-то уже не римские)[22]. Или распределять своих умащенных благовониями челядинцев по возрастам и мастям? Или покровительствовать самым модным атлетам?

А разве можно назвать досугом бесконечные часы, проведенные у парикмахера, когда выщипывается все, что успело отрасти за ночь; когда пускаются в длиннейшие совещания по поводу каждого волоска; когда восстанавливается рассыпавшаяся прическа или, за неимением таковой, оставшиеся еще там и сям волосы старательно начесываются на лоб? До чего страшен бывает их гнев при малейшей небрежности брадобрея, если он вдруг забудется и вообразит, будто стрижет мужчину! Как быстро они добела раскаляются от ярости, если отстрижена лишняя прядь их шевелюры, если не все колечки падают так, как надо, если хоть волос выбился из положенного ему завитка! Да предложи любому из них выбирать между разрушением его государства или его прически, – всякий без колебания предпочтет первое. Есть ли среди них хоть один, кому здоровье собственной головы было бы дороже ее

убранства? Найдется ли такой, чтобы предпочел честь наряду? Неужели ты назовешь досугом жизнь этих занятых людей, разрывающихся между гребешком и зеркалом?

А бывают еще такие, кто неустанно трудится над сочинением, прослушиванием, разучиванием песен; голос, которому природа повелела выходить из горла прямым и простейшим путем, чтобы звучать лучше всего, они коверкают самыми невероятными, но равно бездарными модуляциями; пальцы их вечно барабанят, выбивая ритм мысленно повторяемой мелодии; и даже когда они поглощены серьезным, а часто и печальным делом, слышно, как они мурлычут про себя какой-нибудь мотивчик. Разве у таких бывает досуг? Нет, это скорее вечно занятая праздность.

Но вот уж что поистине никак нельзя назвать свободным временем, так это, клянусь Геркулесом, их пиры! Посмотри, как озабочены их лица, когда они проверяют, в каком порядке разложено на столе серебро; сколько внимания и терпения требует подпоясывание мальчиков-любовников, чтобы туника, не дай бог, не была длиннее, чем надо; какое страшное напряжение, какие муки неизвестности: както выйдет у повара дикий кабан? С какой скоростью влетают по данному знаку безбородые прислужники; с каким бесподобным искусством рассекается на куски птица, чтобы порции не вышли чрезмерно велики; с какой заботливостью несчастные маленькие мальчуганы мгновенно подтирают блевотину опившихся гостей, – да ведь все это устраивается лишь ради того, чтобы прослыть изысканным и щедрым; во всех своих жизненых отправлениях они настолько рабы тщеславия, что уже не едят и не пьют иначе, как только напоказ.

Не вздумай причислить к беззаботным людям тех, кто не делает и шагу без портшеза или носилок; кто соблюдает часы своих ежедневных прогулок так, словно нарушить их – кощунство; кто только от другого узнает, когда ему мыться, когда плавать, когда обедать; чьи изнеженные души настолько ослабели и зачахли, что сами по себе не могут узнать, проголодались они или нет.

Рассказывают, будто один из этих неженок (не знаю, впрочем, много ли неги в том, чтобы отучиться от простейших привычек человеческой жизни), когда его вынесли на руках из бани и усадили в кресло, спросил: "Я уже сижу?" Но если он не знает, сидит ли он, то откуда же ему знать, жив ли он, видит ли он что-нибудь и пользуется ли он досугом или обременен заботами? Я даже затрудняюсь сказать, в каком случае я больше ему сочувствую: если он действительно не знал, или если сделал вид, что не знает.

Они действительно забывают многие вещи, но часто, конечно, и притворяются, будто забыли. Некоторые недостатки нравятся им, так как считаются свидетельством уточненной жизни их обладателя; знать, что делаешь, стало для них, видимо, признаком человека низкого и презренного. Вот и думай после этого, что мимы много выдумывают и преувеличивают, желая высмеять страсть к роскоши. Клянусь Геркулесом, они скорее преуменьшают, не зная многих подробностей. Наш

век, одаренный единственным талантом – усовершенствоваться в пороках – изобрел такое количество новых и невероятных, что мы, наконец, можем даже мимов обвинить в нерасторопности. Так вот, значит, есть уже человек, зашедший в изнеженности так далеко, что желая выяснить, сидит ли он, вынужден полагаться на слово другого. Разумеется, его не назовешь беззаботным, тут больше подходит другое имя: больной, или даже мертвец; беззаботен тот, кто осознает свой досуг и отсутствие забот. Этот полутруп нуждается в указчике даже для того, чтобы понять, в каком положении находится его тело; как же может он быть господином хотя бы ничтожного времени?

Впрочем, перечислять по очереди всех, чья жизнь уходит на игру в камешки или в мяч, или на то, чтобы ежедневно прожаривать свое тело на солнце[23], слишком долго. Никто из тех, кто вечно занят удовлетворением своих желаний, не знает досуга.

Однако есть разряд людей, насчет которых никто обычно не сомневается, что уж они-то и впрямь не заняты никакими деловыми заботами, будучи целиком поглощены изучением бесполезных наук; в последнее время людей такого типа и в Риме развелось множество.

Первоначально эта болезнь появилась у греков: они вдруг кинулись исследовать, сколько гребцов было на кораблях Улисса, что было написано раньше: "Илиада" или "Одиссея" и один у них был автор, или разные, и прочее в том же роде, из тех вещей, которые ничего не дадут твоей душе и уму, если ты сохранишь их про себя, а если выскажешь их вслух, то тебя станут считать не ученым, а докучливым занудой.

Теперь вот и римлян захватила бессмысленная страсть изучать никому не нужные вещи. На этих днях я слушал один доклад о том, кто из римских вождей что сделал впервые. Я узнал, что победу в морском сражении первым одержал Дуилий[24], а Курий Дентат[25] первым провел в триумфальной процессии слонов. Ну ладно, это все хоть и не имеет отношения к подлинной славе, все же вертится вокруг образцовых гражданских деяний; подобное знание не принесет, конечно, никакой пользы, но в нем, по крайней мере, есть нечто привлекательное для нас – по сути своей пустое и мелкое, но блестящее и любопытное. Пожалуй, нет ничего предосудительного и в таких исследованиях, как например, кто первый убедил римлян взойти на корабль (это был Клавдий, именно поэтому получивший прозвище Кавдекс[26]: ведь в старину словом "caudex" называли пригнанные и соединенные друг с другом доски, откуда и произошло название дощечек, на которых записывались общественные постановления – "кодексы"; кроме того, и корабли, доставляющие грузы вверх по Тибру, до сих пор сохраняют старинное название "codicariae" – "кодикарии").

Не лишено, конечно, известного интереса и то, что Валерий Корвин первым взял Мессану и, присвоив себе имя побежденного города, первым в роде Валериев стал называться Мессаной; со временем, оттого, что народ перепутывал буквы, это имя постепенно превратилось в "Мессалу"[27].

Но стоит ли по твоему отдавать свои силы выяснению того, что

Луций Сулла первым выпустил в цирке несвязанных львов[28], которых должны были прикончить присланные царем Бокхом[29] стрелки, а до этого львов всегда показывали только на привязи? Нет, конечно, этим тоже вполне можно заниматься. Но дознаваться, что именно Помпей[30] первым устроил в цирке сражение, в котором двадцать два слона выступали против приговоренных преступников, обязанных драться по-настоящему, – что хорошего может дать такое исследование? Первый среди граждан, отличавшийся меж великими людьми древности, если верить молве, исключительной добротой, изобрел новый, доселе невиданный способ уничтожения людей, решив, что это будет замечательное зрелище. "Заставить их убивать друг друга? – Мало. Разрывать на куски? – Мало. Сотрем-ка их в порошок ногами животных-великанов!"

Это следовало бы предать забвению, дабы не узнал о столь бесчеловечном деле какой-нибудь властительный потомок и, обуреваемый завистью, не вздумал бы перещеголять предка.

О, каким непроницаемым мраком окутывает наши души большое счастье! В те дни, швыряя толпы несчастных обреченных под ноги чужеземным чудищам, устраивая для потехи битву между столь неравными по силе породами живых существ, проливая на глазах римского народа потоки крови, чтобы в недалеком будущем заставить этот народ пролить еще больше своей собственной крови[31], – в те дни Помпей полагал себя вознесенным превыше самой природы вещей. Но вот прошло время – и тот же Помпей, обманутый александрийским вероломством, подставил горло под нож последнего из рабов, впервые, наверное, осознав, что прозвище его было лишь пустой похвальбой[32].

Однако я отвлекся; я ведь желал показать тебе, насколько пустопорожними могут быть самые добросовестные научные занятия. Так вот, тот же самый исследователь открыл, что Метелл, справляя триумф после победы над пунийцами на Сицилии, был первым и единственным из римлян, кто провел перед своей колесницей сто двадцать захваченных у неприятеля слонов; что Сулла был последним из римлян, кто перенес померий[33], который в древности принято было отодвигать лишь в случае завоевания италийского поля, а не провинциальных земель. Однако, и это, пожалуй, не мешает знать; во всяком случае, это полезнее, чем соображения того же автора насчет того, почему Авентин остался за чертой города; он указывает две возможные причины: во-первых то, что на этот холм удалялся плебс[34]; во-вторых, что при ауспициях Рема птицы не велели выбирать это место. Все дальнейшее у него написано в том же роде; бесчисленные побасенки, содержащие либо чистое вранье, либо нечто очень к нему близкое. Впрочем, даже если предположить, что можно верить каждому слову подобных авторов и все ими написанное соответствует действительности, – что из этого? Кого они наставят на истинный путь? Кого избавят от власти страстей? Кого сделают мужественнее, справедливее, щедрее? Наш Фабиан часто говорил, что лучше было бы, наверное, вовсе бросить научные занятия, чем заниматься такой ерундой.

Только те из людей, у кого находится время для мудрости, имеют досуг; только они одни и живут. Они сохраняют нерастраченными не только собственные годы: к отведенному им времени они прибавляют и все остальное, делая своим достоянием все годы, истекшие до них. Если мы не совсем еще утратили способность принимать благодеяния, то именно для нас были рождены прославленные создатели священных учений, именно нас они подготовили к жизни. Нас ведут к ослепительным сокровищам, которые вырыла чужая рука и вынесла из тьмы на свет. Нет столетия, куда нам воспрещалось бы входить, повсюду путь для нас свободен, и стоит нам захотеть, разорвать силою нашего духа тесные рамки человеческой слабости, как в нашем распоряжении окажутся огромные пространства времени для прогулок.

Мы можем спорить с Сократом, сомневаться с Карнеадом, наслаждаться покоем с Эпикуром, побеждать человеческую природу со стоиками, или выходить за ее пределы с киниками[35]. Раз природа вещей позволяет вступать в общение с любым веком, то почему бы нам не обратиться всей душой от этого ничтожного, мимолетного, переходного обрывка времени, который зовется настоящим, к неизмеримой вечности, где мы к тому же вместе с лучшими из людей?

Вон люди, которые вечно бегут по делам, не давая покоя ни себе, ни другим, – предположим, что они дадут полную волю своему безумию и станут ежедневно обивать пороги всех римских домов, не пропуская ни единой отпертой двери, разнося свое оплачиваемое утреннее приветствие решительно по всем концам города, – как ты думаешь, большую ли часть этого чудовищно многолюдного, раздираемого самыми разными вожделениями города удастся им повидать? От скольких дверей прогонит их сонливость, высокомерная роскошь или невежливость хозяев! Сколько раз, часами промучивши в передней, их даже не пригласят сесть, ссылаясь на спешные дела! В скольких домах хозяин, не отваживаясь выйти в битком набитый клиентами атрий, потихоньку выскользнет через черный ход, как будто обмануть – учтивее, чем не пустить на порог! А как много встретится этим несчастным, вечно недосыпающим, лишь бы успеть к пробуждению других, людей полусонных, с тяжелой от вчерашнего похмелья головой, которые ответят на имя, сотню раз названное им почтительнейшим шепотом, лишь самым наглым зевком!

Я же думаю – если вы позволите мне сказать то, что я думаю, – подлинным делом заняты лишь те, кто ежедневно стремится сделаться насколько возможно своим человеком у Зенона, Пифагора, Демокрита и прочих выдающихся мастеров истинно добрых искусств, кто желает стать приближенным Аристотеля и Теофраста. Никто из них не укажет вам на дверь за неимением времени; всякий пришедший к ним уйдет осчастливленный, воспылав к ним еще большей любовью; ни один гость не оставит их с пустыми руками; во всякое время дня и ночи их двери открыты для любого смертного.

Ни один из них не станет принуждать тебя к смерти, но каждый научит умирать. Ни один из них не украдет у тебя твои годы, но

каждый охотно прибавит тебе своих. Среди них нет ни одного, с кем откровенная беседа была бы опасна, дружба – могла бы стоить головы, кто требовал бы разорительных знаков внимания. Ты вынесешь от них все, что захочешь. Если ты почерпнешь у них меньше, чем мог бы вместить, в этом будет не их вина. Какое счастье, какая прекрасная старость ожидает того, кто отдаст себя под их покровительство! У него будет с кем порассуждать и о мелочах, и о самом главном; будет с кем посоветоваться каждый день о своих делах; будет от кого услышать правду без упрека и похвалу без лести; будет кому подражать.

Мы часто говорим о том, что выбирать родителей не в нашей власти, что жребий нашего рождения случаен. На самом же деле мы вольны по собственному усмотрению решать, где нам родиться. Есть семьи благороднейших умов и дарований; выбирай, какой семьи ты желаешь стать членом. Благодаря усыновлению, ты приобретешь не только имя; ты станешь наследником всего семейного достояния, а это такое богатство, которое тебе не придется сторожить, превратясь в жестокого скупца: его становится тем больше, чем больше людей, среди которых его разделят. Твои новые родственники укажут тебе дорогу к вечности и помогут подняться на ту вершину, с которой никто никуда не падает. Это единственный способ продлить наш смертный век, более того – обратить его в бессмертие. Почести, памятники, государственные постановления, которых добилось честолюбие; постройки, которые оно возвело, – все это быстро рушится; ничто не в силах противостоять старости, все сотрясающей и обращающей в развалины. Но то, что освящено мудростью, для старости неуязвимо; сколько бы ни прошло веков, оно не тускнеет, не уменьшается, напротив, с каждым столетием растет его слава, ибо близкое – всегда предмет зависти, а отдаленным проще восхищаться.

Итак, жизнь мудреца длится долго. Он не заключен в пределах того же земного срока, что прочие смертные; он не связан законами рода человеческого; все века служат ему, как богу. Проходит какое-то время: он сохраняет его в своем воспоминании; какое-то настает: он его использует; какое-то должно настать: он заранее предвосхищает его. И вот это соединение всех времен в одно и делает его жизнь долгой.

Самая короткая и беспокойная жизнь бывает у людей, которые не помнят прошлого, пренебрегают настоящим, боятся будущего. Когда наступает конец, несчастные слишком поздно сознают, что всю жизнь были заняты, но ровно ничего не делали. Не думай, пожалуйста, что если они иногда сами призывают смерть, это доказывает, что они прожили долгую жзизнь: ничего подобного. Просто по неразумию они часто сами не знают, чего хотят и устремляются как раз к тому, чего боятся; так нередко и смерть они призывают именно оттого, что страшатся ее больше всего на свете. Не вздумай также считать признаком долгожительства и то, что многим из них день зачастую кажется непомерно длинным и они жалуются, что никак не дождутся обеденного часа. Дело в том, что как только они перестают быть

вечно заняты и оказываются на покое, они не могут найти себе места, не зная, как распорядиться своим досугом, как выдержать его. И вот они начинают искать себе каких-нибудь занятий, а всякий перерыв между ними им в тягость, так что они, клянусь Геркулесом, мечтали бы просто перепрыгнуть через нсколько дней, если, например, объявлен день гладиаторских игр, или назначен срок другого долгожданного зрелища либо удовольствия.

Время, отделяющее их от исполнения желаний, кажется им непомерно долгим, зато сладостное для них время пролетает с головокружительной быстротой, укорачиваясь еще и по их собственной вине: не в силах остаться верными собственной страсти, они вечно перескакивают от одного вожделения к другому. День для них не столько долог, сколько ненавистен; зато как коротки кажутся им ночи, проведенные в объятиях шлюхи или за вином! Вот откуда взялась кощунственная и безумная выдумка поэтов, будто Юпитер, вконец разомлевший от любовных наслаждений, удлинил ночь вдвое: пища поэтических мифов – человеческие заблуждения. Видимо, единственная цель, которую они преследуют – посильнее раздуть пожар наших пороков, ибо к чему еще это может привести? Богам приписывается изобретение всех наших мерзостей, и любая человеческая испорченность, осененная божественным авторитетом, получает извинение и оправдание.

А людям – как могут не показаться слишком короткими ночи, покупаемые столь дорогой ценой? Ожидание ночи убивает их день, страх рассвета губит их ночь. Даже наслаждения их исполнены тревоги и разнообразных страхов; момент наивысшего восторга им отравляет беспокойная мысль: "Долго ли это продлится?" Именно такое чувство заставляло царей оплакивать свое могущество: их уже не радовало дарованное судьбой счастье, зато несказанно страшил грядущий конец. Один персидский царь непомерной гордыни[36] велел выстроить в степи свое войско, но не в силах сосчитать солдат, измерил лишь его длину и заплакал, что, дескать, не пройдет и ста лет, как из тысячи этих отборных юношей не останется ни одного. Но ведь сам он, обливавшийся слезами, вел их навстречу року; сам он, так тревожившийся о том, что будет с ними через сто лет, погубил их всех в течение немногих месяцев – кого в море, когда на суше, кого в битве, кого в бегстве.

Да разве не все их радости смешаны со страхом и тревогой? Ведь они порождены не основательными причинами, а ничтожной суетностью, которая затем их же и отравляет. Но если даже в те моменты, когда восторг, по их словам, поднимает их на неземные высоты, они не могут испытать чистой радости без примеси страха, то подумай, каковы должны быть времена, которые они сами называют несчастными?

Чем больше благо, тем больше связанное с ним беспокойство; чем полнее счастье, тем меньше можно на него полагаться. Чтобы удержать оставшуюся, нужна другая удача; если исполнилось то, ради чего ты приносил жертву, нужно скорее нести жертву за это исполнение – и

так без конца. Все, что досталось благодаря везению, непрочно; чем выше поднимет случай, тем легче упасть. Но кого же будет радовать то, что в любой момент может упасть? Это значит, что не только самой короткой, но и самой несчастной жизнью живут люди, с превеликими трудами добывающие себе блага, обладание которыми потребует от них еще больших трудов. Прилагаются все усилия, чтобы достичь желаемого, а сколько потом тревог, чтобы удержать достигнутое! Между тем безвозвратно уходящее время совсем не принимается в расчет: еще не закончены старые дела, как уже появились новые; один честолюбивый план порождает другие, надежда ведет за собой надежду. Но мы и не пытаемся положить конец нашим несчастьям, мы лишь наполняем их новым содержанием. Мы замучились, добиваясь почетных должностей для себя – теперь тратим еще больше времени, добиваясь для других. Не успели мы отделаться от тягостной роли кандидата – начинаем собирать голоса для кого-нибудь. Не успеем вздохнуть с облегчением, сложив обязанности обвинителя, – ан судейские полномочия уже тут как тут. А кто перестанет быть судьей – глядишь, уже назначен следователем или председателем суда. Вот человек состарился, управляя за жалованье чужими имениями – теперь заботы о собственном, накопленном за все эти годы богатстве, и нет ему покоя.

Не успел Марий[37] снять солдатский сапог – а уже консульство требует себе всех его сил и внимания. Квинций[38] торопится сложить с себя диктатуру – его уже зовут скорее возвращаться к плугу. А вот Сципион[39]: юношей, еще не доросшим до таких дел, он пойдет на пунийцев; победитель Ганнибала, победитель Антиоха, украшение собственного консульства, поручитель братнего, он был бы вознесен на трон рядом с Юпитером, если бы сам не умерял народные восторги; но гражданские раздоры не дадут покоя спасителю, и вместо почестей, не уступающих божественным и презрительно отвергнутых юношей, старику достанется лишь одна радость – гордиться своим упрямым изгнанничеством. Никогда не будет недостатка в причинах для беспокойства – будь то страх за нынешнее счастье или перед грозящим несчастием; одна забота так и будет толкать жизнь к другой; вечно желанный досуг не наступит никогда.

Так вырвись же наконец из людского водоворота, дражайший Паулин, возвратись в тихую гавань: тебя и так носило по волнам дольше, чем это подобало бы твоему возрасту. Вспомни, сколько раз тебя застигала в море непогода; сколько домашних гроз пришлось тебе выдержать, сколько общественных бурь ты сам вызвал на себя. Поверь мне, в многочисленных трудах, заботах и тревогах ты вполне доказал уже свою добродетель; пора испытать, чего она стоит на досуге. Пусть большая и лучшая часть жизни отдана государству – но хоть какую-то часть принадлежащего тебе времени возьми себе.

Я не призываю тебя к ленивому и бездеятельному отдыху, не хочу, чтобы ты погрузился в дремоту или утопил свои живые дарования в любезных толпе наслаждениях: не это я называю покоем. Нет, тебя

ждут великие дела, больше всех, за какие ты брался до сих пор с присущей тебе бодростью и рвеним; и ты займешься ими вдали от тревог и людской суеты.

Ты поверяешь денежные счета со всего земного шара бескорыстно, словно чужие, тщательно, словно свои, видя в этом священную обязанность, словно они общественные. Ты снискал себе любовь, занимая такую должность, на которой редко кому удается избежать ненависти. И все же, поверь мне, лучше подвести итог собственной жизни, чем заготовок государственного хлеба. Твой дух полон жизни и бодрости, он способен еще к величайшим свершениям – так освободи же его от службы: она почетна, нет сомненья, но мало годится для блаженной жизни. Подумай: для того ли ты посвящал с малых лет все свое рвение изучению свободных наук, чтобы теперь заботиться о сохранности многих тысяч пудов пшеницы? Нет, от тебя ожидали большего и высшего.

В распорядительных хозяйственниках и усердных тружениках недостатка и без тебя не будет. Медлительные тяжеловозы гораздо больше подходят для перевозки грузов, чем кровные жеребцы; кто станет навьючивать тяжести на породстых скакунов? И вот еще о чем подумай: сколько беспокойства и тревоги добавляется к и без того тяжкому бремени, которое ты на себя взвалил! Ведь тебе приходится иметь дело непосредственно с желудком человеческим; а голодный народ не слушает доводов, не оправдывает невинного, не смягчается мольбами о милости.

Совсем недавно, в те дни когда погиб Гай Цезарь, государственные закрома опустели настолько, что хлеба оставалось на каких-нибудь семь-восемь дней! (Если покойники могут что-нибудь чувствовать, как он, наверное, мучится, бедняжка, что римский народ-таки его пережил!) Пока он сооружал мосты из грузовых кораблей, превратив мощь империи в игрушки, вплотную приблизилось бедствие, самое страшное даже для осажденных неприятелем – недостаток продовольствия. Подражание безумному чужеземному царю, которого сгубила гордыня, едва не стоило нам голода и гибели, ибо за голодом неизбежно последовало бы крушение всего и вся[40].

Как же должны были чувствовать себя в те дни люди, которым была поручена забота о государственных запасах хлеба? Ведь им угрожали камни, мечи, огонь и сам Гай? Призвав на помощь все свое притворство, они скрывали чудовищный недуг, уже поразивший внутренности государства, и в этом был резон: некоторые болезни следует лечить, не рассказывая о них больному. Многие умерли от того, что узнали, чем больны.

Скорее бросай это и уходи к делам спокойным, безопасным, великим! Неужели тебе безразлично, будешь ли ты по-прежнему заботиться о том, чтобы зерно доставлялось на склады без потерь, неразворованое мошенниками, нерастерянное лентяями, чтобы не подмокло, не испортилось, не сопрело, чтобы точно сходился его вес и объем, – или же приступишь к изучению священных, высших пред-

метов и узнаешь, какова материя бога, его воля, его состояние, его форма; какая судьба ожидает твою душу; куда денет нас природа, когда освободит от тела; какая сила удерживает самые тяжелые части этого мира в середине, легкие подвешивает над ними, а сверх всего возносит огонь и заставляет светила двигаться каждое своим путем; и другое многое, исполненное невообразимых чудес?

Разве тебе не хочется оставить землю и устремить свой духовный взор туда, ввысь? Именно теперь, пока не остыла кровь, не иссякли силы, надо отправляться на поиски лучшего! Я предлагаю тебе такой род жизни, где тебя ожидают многочисленные благородные искусства, любовь к добродетели и практическое ее применение, забвение вожделений, познание жизни и смерти, глубокий покой.

Участь всех занятых людей достойна жалости, но самая жалкая доля досталась тем, кто занят даже не своими делами, кто засыпает, приноровляясь к чужому сну, гуляет, подлаживаясь под чужой шаг, кто даже любит и ненавидит по указке, хотя уж в этом-то, казалось бы, все свободны. Если бы они пожелали узнать, насколько коротка их жизнь, им достаточно было бы прикинуть, какая ее часть принадлежит им.

Поэтому не завидуй, когда видишь не в первый раз надетую претексту[41], когда слышишь имя, знаменитое на форуме: эти вещи добываются ценой собственной жизни. Люди готовы убить все свои годы на то, чтобы один-единственный назывался их именем[42]. Иные не успевают добраться до вершин, к которым зовет их честолюбие: жизнь покидает их, когда они только начали в жестокой борьбе пробиваться наверх. Иные, продравшись сквозь тысячи бесчестных подлостей, все же вырываются к вершинам чести и славы, и тут только их осеняет горестная мысль, что все тяготы перенесены ими лишь ради надгробной надписи. Иные на склоне лет расцвечивают свое будущее лучезарными надеждами, путая старость с юностью, и дряхлые силы изменяют им в разгаре новых бесстыдно грандиозных предприятий. Мерзок старик, испускающий дух посреди судебного заседания, разбирая тяжбу ничтожнейших склочников, жадно ловя одобрение ничего не смыслящих зрителей! Позор тому, кто умирает при исполнении служебных обязанностей, устав от жизни прежде, чем от работы! Позор тому, кто отправляется на тот свет, сидя за счетными книгами, на посмешище истомленному ожиданием наследнику!

Не могу не привести еще один пример, только что пришедший мне в голову. Гай Туранний[43] был старец редкой аккуратности, но когда ему перевалило за девяносто, Гай Цезарь освободил его от прокураторской должности без просьбы о том с его стороны. Тогда Туранний велел уложить себя на смертное ложе и оплакивать всем домом как покойника. И все домочадцы, собравшись вокруг, рыдали о том, что их престарелый хозяин получил, наконец, возможность отдохнуть, и траур не закончился до тех пор, пока старика не восстановили на работе. Неужели настолько приятно умереть занятым?

Впрочем, так устроено большинство людей: они жаждут работать дольше, чем могут. Они изо всех сил борются с телесной слабостью, и

сама старость лишь оттого им в тягость, что не позволяет работать. Закон не призывает в армию после пятидесяти; не назначает в сенат после шестидесяти; добиться для себя досуга людям легче от закона, чем от самих себя.

Но пока они хватают, что можно, и становятся чужой добычей сами, пока не дают друг другу покоя, пока делают друг друга несчастными, – тем временем жизнь проходит, бесплодная, безрадостная, бесполезная для души. Никто не думает о смерти, всякий заходит в своих надеждах далеко вперед, а некоторые стараются забежать в своих планах вовсе по ту сторону жизни, заботясь об огромных надгробиях, о посвящении общественных зданий, о дарах, которые будут положены в погребальный костер и о пышной всем на зависть похоронной процессии. А ведь прожили они, клянусь Геркулесом, так ничтожно мало, что следовало бы хоронить их при свечах и факелах[44].

Примечания

[1] Помпоний Паулин, к которому адресуется Сенека, был в Риме префектом анноны между 48 и 55 г. н.э. Постоянная должность praefectus annonae – начальника по продовольственной части – была введена императором Августом в 7 г. н.э. Ее могли занимать всадники, побывавшие прокураторами провинций; следующей должностной ступенью была префектура Египта или префектура претория. Префект анноны осуществлял надзор за всеми государственными поставками продовольствия, отвечал за его количество, качество, транспортировку, хранение и распределение (анноной назывались регулярные бесплатные раздачи хлеба римлянам). Ему подчинялись большие штаты чиновников в Риме, Остии и всех портовых городах Италии, прокураторы анноны провинций и военные отряды, считался он не магистратом, а чрезвычайным императорским уполномоченным – extra ordinem utilitatis causa constitutus, имел право суда, казни (ius gladii) и прямого доступа к императору.

[2] *Гиппократ.* Афоризмы I, 1: ὁ βίος βραχύς, ἡ δὲ τέχνη μακρή. Это значит не то, что великие произведения искусства надолго или навечно переживают своих создателей, а то, что всякому ремеслу (искусству) надо долго учиться, а жизнь коротка.

[3] С точки зрения Сенеки Аристотель не прав, критикуя природу. Для стоиков природа, тождественная богу, разуму, провидению, устраивает в этом мире все наилучшим образом. Сама приводимая Сенекой цитата взята, по-видимому, не из Аристотеля, а из Феофраста, которому приписывает такую мысль Цицерон (Тускуланские беседы, 3, 69). Аристотель считает человека одним из самых долгоживущих животных (О долготе и краткости жизни 466 a).

[4] collocaretur: букв. вложить. В этом трактате Сенека постоянно употребляет хозяйственно-финансовую деловую терминологию, близкую и понятную его адресату; здесь метафора: жизнь как капитал, который надо удачно вложить.

[5] Обычно просто *поэтом или величайшим из поэтов* Сенека называет Гомера или Вергилия, но у них такого стиха нет. Возможно, Сенека вспоминает здесь стих из Менандра, по ошибке приписывая его другому: μικρόν τι τοῦ βίου καὶ στενὸν ζῶμεν (фрагм. 340) – exigua pars est vitae qua vivimus.

[6] recurrere ad se: *вернуться к себе. С* точки зрения стоиков, корень всех зол в человеческой жизни – уход от себя, отчуждение от себя. Согласно стоической теории οἰκείωσις, всякому живому существу по природе свойственно устремляться к самому себе; внешне это проявляется как инстинкт самосохранения: всякое животное стремится к тому, что способствует сохранению и упрочению его жизни, как к благу, и избегает того, что может ей повредить, как зла. Сущность человека составляет разум; следовательно, благо для человека – то, что питает и укрепляет его разум; вернуться к себе – вернуться к разуму.

[7] Точно датировать это письмо не представляется возможным. Согласно Светонию, Август дважды делился с сенатом мыслью о том, чтобы сложить свои полномочия: первый раз после победы над Антонием, второй раз во время продолжительной болезни в 28 г. до н.э. Согласно Диону Кассию (53, 9, 1), Август произнес в сенате слова примерно того же содержания, что Сенека вкладывает в его письмо.

[8] Август вел гражданские войны против Марка Антония (43 г. до н.э.), против Брута и Кассия (42 г. до н.э.), против Луция Антония и Фульвия (40 г. до н.э.).

[9] Против коллег по должности Август воевал в 36 г. (из триумвирата они с Антонием исключили Марка Лепида) и в 32–30 гг. против самого Антония.

[10] Марк Антоний, главный неприятель Августа в гражданских войнах, был в течение восьми лет (40–32 гг.) женат на его сестре Октавии; Секст Помпей, которого Август победил в 36 г. в Сицилии, был родственником его второй жены Скрибонии.

[11] Ради риторического эффекта Сенека синхронизирует победы Августа и заговоры (Мурены и Цепиона в 23 г. до н.э.; Эмилия Лепида в 31 г. до н.э.; Эгнация Руфа в 19 г. до н.э.) против него, хотя заговоры прекратились раньше, чем были достигнуты перечисленные победы.

[12] Имеется в виду дочь Августа и Скрибонии Юлия, рожденная в 40 г. до н.э. Среди ее многочисленных любовников во время ее брака с Тиберием был и Юлл Антоний, сын триумвира Марка Антония, устроивший во 2 г. до н.э. заговор. Август усмотрел в Антонии-младшем и Юлии повторение той опасности, которая когда-то грозила ему со стороны другой пары: Антония-старшего и Клеопатры. Юлия в том же году была отправлена в изгнание, а Антоний покончил с собой.

[13] Если верить Светонию (Август, гл. 65), Август называл свою дочь Юлию и двух ее детей Агриппу Постума и Юлию своими тремя язвами и раковыми опухолями (tres vomicas ac tria carcinomata sua).

[14] Ливий Друз – народный трибун 91 г. до н.э., предлагавший радикальные реформы, в частности, упразднение всаднического суда (Т. Моммзен называет его "Гракхом от аристократии") и предоставление прав римского гражданства союзникам. По всей Италии у него было множество сторонников, в Риме же его планы встретили сопротивление; Друз был убит, после чего Риму пришлось два года (91–89 гг. до н.э.) воевать с союзниками.

[15] Претекста – тога с широкой пурпурной полосой, которую носили мальчики до 16 лет (такую же претексту носили и высшие магистраты и военачальники).

[16] Фаски – связки прутьев-розог (для наказания), в середине которых помещался топор (для казни), – символ высшей государственной власти в Риме. Такие связки несли в руках ликторы, сопровождавшие повсюду высших магистратов, консула – 12 ликторов, претора – 6. Ликторы с фасками поступали в распоряжение лица, избранного в преторы или консулы, первоначально на время исправления должности, позднее – пожизненно.

[17] *Вергилий.* Георгики, 66–67.

[18] Гай Папирий Фабиан – стоик из школы Квинта Секстия. Тот основал в Риме в годы правления Октавиана Августа философскую общину, устав которой имел много общего с пифагорейским, а задача была – создать собственную римскую национальную философию, которая заключалась бы не в словах, а в образе жизни. Секстий не соглашался, чтобы его причисляли к стоикам, а школу свою называл Romani roboris secta.

[19] Базилика – распространенный в древней Италии тип общественных зданий. В Риме базилики играли роль биржи, где происходила вся крупная торговля капиталами и всевозможной продукцией.

[20] *Hasta*, или *gasta praetoria* – символ iustum dominium (владения по праву) – копье, выставлявшееся при совершении сделок о наследстве, о передаче в аренду, при крупных продажах и при свадьбах; оно же выставлялось на суде центумвиров при разборе обманов во всех видах перечисленных выше сделок.

[21] Коринфская бронза особого сплава ценилась необычайно дорого.

[22] По-гречески κήρωμα первоначально называлась мазь из воска, которой натирались борцы на ринге, затем – площадка для такой борьбы. Этот греческий вид спорта

всегда воспринимался как вопиюще не-римский, чужеродный, почему Сенека и приводит его здесь в пример.

[23] Римляне принимали солнечные ванны не ради загара, а ради высушивания тела: избыток жидкостей в теле считался источником болезней.

[24] Дуилий – консул 260 г. до н.э. Одержал победу над карфагенянами на море при Милах у Сицилии в Первую Пуническую войну.

[25] Курий Дентат – консул 290, 275 и 273 г. до н.э., победитель Пирра.

[26] Аппий Клавдий Каудекс, консул 264 г. до н.э., убедил римлян в начале Первой Пунической войны строить военные корабли.

[27] Маний Максим Валерий Мессала, консул 263 г. до н.э., изгнал карфагенян из Мессины.

[28] Луций Корнелий Сулла устраивал игры в 93 г. до н.э., в бытность свою претором.

[29] Мавританский царь Бокх, тесть воевавшего против Рима царя Югурты, выдал его Сулле и заключил с Римом договор о дружбе в 105 г. до н.э.

[30] Гней Помей устраивал в 55 г. до н.э. в честь открытия нового театра игры, поразившие всех жестокостью, о чем пишут и Цицерон, и Плиний, и Дион Кассий.

[31] Помпей вел гражданскую войну против Юлия Цезаря.

[32] Прозвище – cognomen – Помпея было Magnus – Великий. Спасаясь бегством после поражения при Фарсале, он высадился на побережье Египта, где был встречен офицерами тринадцатилетнего царя Птолемея XIII Ахиллой и Луцием Септимием и зарезан. Отрезанную голову его в корзине передали Юлию Цезарю.

[33] Священная граница города Рима.

[34] На Авентин, за черту города, дважды удалялся весь римский плебс, отстаивая свои права против патрициев (secessiones plebis – 494 и 449 г. до н.э.). В 49 г. н.э. император Клавдий очередной раз отодвинул померий, и Авентин оказался в черте города. С тех пор Рим стоит на семи холмах.

[35] Сенека дает формальную характеристику различных философских школ: Сократ – диалектик, Карнеад – скептик, Эпикур – проповедник душевной безмятежности (ἀταραξία) и покоя частной жизни (λάθε βιώσας), киники, требовавшие сведения потребностей к минимуму и отказа от всех общественных условностей.

[36] Персидский царь Ксеркс в походе на греков – ср.: *Геродот*. История, VII, 44.

[37] Гай Марий, семикратный консул (107, 104–100, 86 гг. до н.э.), перед этим прославился военными победами.

[38] Луций Квин(к)ций Цинциннат, дважды диктатор, один из самых легендарных и прославленных героев римской истории. Согласно легенде, когда римляне посылали за ним (458 и 439 г. до н.э.), чтобы вручить ему диктаторские полномочия, ибо он один еще мог спасти государство, посланные находили его голого (единственную одежду он берег по бедности) за плугом; после исполнения диктатуры он тотчас отправился назад к своему плугу, ибо многочисленное семейство его голодало, ютясь в единственной комнате маленькой хижины: Цинциннат ни на грош не обогатился после полугода неограниченной власти.

[39] Публий Корнелий Сципион Африканский Старший (235–183 гг. до н.э.), победитель Ганнибала, был обвинен в 187 г. вместе с братом во взяточничестве и после осуждения брата в 184 г. жил уединенно в своем Кампанском имении, где и умер год спустя.

[40] Среди прочих дорогостоящих и эксцентричных затей императора Гая Калигулы была и такая: в 39 г. он, по рассказу Светония, "выдумал зрелище новое и неслыханное дотоле. Он перекинул мост через залив между Байями и Путеоланским молом, длиной почти в три тысячи шестьсот шагов: для этого он собрал отовсюду грузовые суда, выстроил их на якорях в два ряда, насыпал на них земляной вал и выровнял по образцу Аппиевой дороги... Я знаю, что, по мнению многих, Гай выдумал это мост в подражание Ксерксу, который вызвал такой восторг, перегородив много более узкий Геллеспонт..." (Калигула, 19), Сенека сближает два события, отстоящих по времени на два года – строительство моста и голод 41 г.; по-видимому, между ними действительно была причинная связь: для строительства моста были взяты транспортные суда, перевозившие продовольствие.

[41] То есть людей, не в первый раз добившихся высших государственных должностей: преторы и консулы носили тогу-претексту, белую с пурпурной каймой.

[42] В римских летописях годы назывались не цифрами, как у нас, а именами консулов, которые избирались на год.

[43] Гай Туранний – префект анноны с 14 по 48 г. н.э., предшественник Паулина на этом посту.

[44] В Риме не полагалось оплакивать умерших детей – они еще не приносили пользы государству, еще не были полноценными гражданами и, следовательно, людьми в полном смысле слова. Хоронить их разрешалось только ночью, при свете факелов и свечей. Сенека возвращается к началу трактата: девяностолетние старики умирают годовалыми младенцами, ибо подлинно прожитое время – только то, что было отдано философии и самосовершенствованию.

Луций Анней Сенека

О БЛАЖЕННОЙ ЖИЗНИ

К брату Галлиону

I. 1. Все, брат Галлион[1], желают жить счастливо, но никто не знает верного способа сделать жизнь счастливой. Достичь счастливой жизни трудно, ибо чем быстрее старается человек до нее добраться, тем дальше от нее оказывается, если сбился с пути; ведь чем скорее бежишь в противоположную сторону, тем дальше будешь от цели. Итак, прежде всего следует выяснить, что представляет собой предмет наших стремлений; затем поискать кратчайший путь к нему, и уже по дороге, если она окажется верной и прямой, прикинуть, сколько нам нужно проходить в день и какое примерно расстояние отделяет нас от цели, которую сама природа сделала для нас столь желанной.

2. До тех пор, пока мы бродим там и сям, пока не проводник, а разноголосый шум кидающихся во все стороны толп указывает нам направление, наша короткая жизнь будет уходить на заблуждения, даже если мы день и ночь станем усердно трудиться во имя благой цели. Вот почему необходимо точно определить, куда нам нужно и каким путем туда можно попасть; нам не обойтись без опытного проводника, знакомого со всеми трудностями предстоящей дороги; ибо это путешествие не чета прочим: там, чтобы не сбиться с пути, достаточно выйти на наезженную колею или расспросить местных жителей; а здесь, чем дорога накатанней и многолюдней, тем вернее она заведет не туда.

3. Значит, главное для нас – не уподобляться овцам, которые всегда бегут вслед за стадом, направляясь не туда, куда нужно, а туда, куда все идут. Нет на свете вещи, навлекающей на нас больше зол и бед, чем привычка сообразовываться с общественным мнением, почитая за лучшее то, что принимается большинством и чему мы больше видим примеров; мы живем не разумением, а подражанием. Отсюда эта вечная давка, где все друг друга толкают, стараясь оттеснить. 4. И как при большом скоплении народа случается иногда, что люди гибнут в давке